

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дрожит машина братьев Райт –
Мотору верная фанера;
Но инженер на инженера
Глядит уверенно: alright!

Еще не время для войны,
И небеса обетованны;
Но обещают расставанья –
И обещаниям верны –

Три неделимые оси,
Осенних дней гроза и диво.
На синем блюде объектива
До нас, фотограф, донеси

День первый и последний день –
Где блещет тучка золотая
И век летит, перелетая
Из света в тень.

* * *

Переменив обряд и норов,
наряд положенный надев,
на положении non-native
ты пребываешь не у дел.

Положим, доля эмигранта
неутешительна, пока
приходится на горстку грунта
родного – пригоршня песка

заморского; зато вершина
горит, и манит высота:
затем, что жизнь несовершенна,
точнее – не завершена,

но выражается перфектом
ее движение вовне –
и непреложным этим фактом
оправдана вполне.



Город не сдал позиции. Город пуст.
Столп и досель соседу грозит, как перст.
Ангел часу в шестом заступил на пост,
выпрямился в рост.

Справа, в Разливе, в ступке елозит пест,
«шоб вам...» – ворчит чухонка и морщит нос.
Ангел крестом замахивается: «Брысь!
Ты это дело брось!»

Слева, в заливе, злится веселый бриз
и с боссановой схлестывается блюз.
Мне ничего не видно ни вдаль, ни вблизи;
мокрая прядь волос

лезет из-под фуражки (к чертям устав).
Мой часовой ни капельки ни устал.
«Быть ли пусты, служивый, месту сему?» –
я говорю ему.

«Быть – золотым и пламенным! Нынче в пол-
неба пылает адмиралтейский шпиль;
вон у Петра и Павла петух пропел –
враг уже отступил,

Стражу несет отряд у морских ворот
триста-который-год».
Он поправляет форменный отворот.
Смотрит вперед.



А когда на рассвете лег
ветру в ноги зеленый луг –
Сводом выгнулся потолок,
Изогнул односкатный лук.

Вьется весточка на стреле,
что нацелена в облака:
«Мы в осаде. Пошли земле
хлеба, яблок и молока;

пропитания – до зимы;
подкрепления – за плечо;
и тогда, обещаю, мы
простоим еще».



Навалило снегу – до *крайней Тулы!*
А на днях ко мне намело Катутла.
Он, болезный, плюхнулся мимо стула,
был измучен и удручен,
говорил: «Послушай, какое дело:
Passer mortuus est meae puellae,
Passer, deliciae meae puellae... –
Ну а я-то, а я при чем?»

Я чайку на кухне сообразила,
но поэт не пил и глядел уныло.
Говорил, что милая изменила,
что ни совести, ни стыда,
говорил: «Совсем расшалились нервы:
До того люблю – придушил бы стержу.
Не беда, что я у нее не первый:
Не последний – вот в чем беда!»

Поняла я с ходу, что дело худо,
говорю: «Послал бы ее... послушай,
поселись поближе, возьмишь-ка лучше
за родной Геликонский гуж,
потому как бабы у нас не хуже.
А в четверг Вергилий зайдет на ужин –
будет выть про *битвы* и ныть про *мужа*
(если только позволит муж)».

Только тут Катутла как ветром сдуло:
То ли зря я мужа упомянула,
То ли тень Вергилиева мелькнула
неэпически перед ним?
Облачен в диванное покрывало,
он смотался, словно и не бывало,
в направленье Киевского вокзала
поджидать электричку в Рим.

Навалило снегу снаружи добро!
Поднялась я с рожею дуже храброй,
отложила книжку, взялась за швабру:
разобрали совесть и стыд,
потому – в прихожей пора прибраться,
а не то припрется какой Гораций...
Ради мужа можно б и не стараться,
Но поэзия не простит.

CHIBA CITY BLUES

Куда не следует нос не суй
и ереси не неси.
В люминесцентной сети Нинсей
(Night City; long time no see* –

и не видал бы еще сто лет) –
прожектор в пустом порту
лучом, отточенным, как стилет,
врезается в темноту.

Прищурившись, из последних сил
высматриваю кусок,
в кислотной мороси Тоба-си
прожженный наискосок:

над тусклыми куполами, над
осколками облаков
колючий блик, опалив зенит,
качнулся и был таков.

Пускай в стотысячный раз пусты
карманы – спасибо за
неоновую фрезу звезды,
прорезавшей небеса,

за то, что отблеск ее дрожит
на плоскости голубой;
за право – может, и не прожить,
но сдохнуть самим собой.

* Ночной город; давно не виделись (англ.).

* * *

Не обману, не изменю
земной косноязыкой твари.
Как эти звери, горы, травы
произрастали без меня?

О чем – во сне ли, наяву –
стонал залив, обледенев, и
переговаривались нивы
без перевода моего?

И днем и ночью начеку:
В ущелье вздрагивают глыбы,
Ворочаются бычьи губы,
Ворчат горошины в стручке,

но строчкой тянется горе
через нагорья и равнины
над горечью непониманья –
прямая речь.